

Георгий Чулков

Подсолнухи



Георгий Иванович Чулков

Подсолнухи

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664315

Чулков Г.И. Избранное: М.; 2011

Аннотация

«Помню одну ночь, когда предчувствия мои как будто бы воплотились. Я сидел на скамейке около пруда. Луна была на ущербе. По-летнему было душно. Я закрыл глаза и мне представилось – так ясно, так осязательно близко – женское лицо, с нежным лукавым ртом, с серебристо-туманными глазами, мечтательными и влекущими...»

Содержание

I	4
II	8
III	12

Георгий Иванович Чулков

Подсолнухи

I

Когда я вижу этот большой цветок, золотой и махровый, всегда обращенный к солнцу, в сердце моем начинает звучать песенка – тихая, печальная и сладостная, – и в душе возникают воспоминания о милом далеком, о юности моей, о том, чего не вернешь никогда, никогда... Я вспоминаю тогда моего дядюшку Степана Егоровича Руднева, курские поля, тихую усадьбу: мне тогда кажется, что пахнет белой акацией, что старость моя дурной сон и что вот стоит только глаза протереть – и я вновь увижу незабвенное весеннее.

Однако буду рассказывать по порядку.

Окончив гимназию, попал я на лето в имение к моему дядюшке. На моей вихрастой голове уже была надета студенческая фуражка, и чувствовал я себя так, как будто бы весь мир только того и ждал, чтобы приветствовать меня, мою свободу и благословить меня на какую-то новую жизнь.

Мне шел тогда восемнадцатый год, и сердце мое было отравлено тою нежной и пугливой мечтою, которая исчезает вместе с юностью.

Впрочем, не все теряют вместе с весенними днями душев-

ную чистоту и нежность. И дядюшка мой, Степан Егорович, был одним из этих избранных... Когда-то, в молодости, влюбился он в одну московскую барышню, генеральскую дочку, и сделал ей предложение. Но барышня не была благосклонна к Степану Егоровичу и поспешила выйти замуж за какого-то уланского ротмистра. Дядюшка мой не разочаровался, однако, в своей возлюбленной и крепко затосковал. Друзья посоветовали ему поехать за границу, развлечься. Степан Егорович поехал в Венецию, но и Венеция его не утешила, хотя св. Марк и роскошь Веронеза и Тинторетто пленили его мечтательное сердце.

После Венеции поселился он у себя в деревне и стал жить отшельником и чудаком, неустанно мечтая о генеральской дочке, исчезнувшей во мгле былых дней. И как наивны, и как нежны были его мечты...

Когда я приехал к дядюшке, было ему уже под пятьдесят, но все еще в лице его было что-то юное. Но какое-то недомыслие выражали всегда его светлые глаза.

Зажили мы с дядюшкой, как говорится, душа в душу. Одно только обстоятельство нас разделяло – политические убеждения: я был вольнодумец и демократ, а дядюшка был приверженец аристократической олигархии. Чудаку все мерещился какой-то «совет дождей» и нравилась чрезвычайно итальянская пышность XVI века. А в житейских делах дядюшка ничего не понимал. И, если бы не управляющий Аверьяныч, маленький хутор его давно бы продали с молотка.

Я приехал на хутор, когда вишни и яблони уже отцвели, но зато благоухала белая акация. Веяло весною, не тою подснежною мартовской весною, от которой стоит в сердце влажный дурман, а тем нежным и тихим маем, который медленно склоняется к лету и бывает так пленителен в своем сладостном томлении.

Дядюшка подарил мне славного иноходца Робинзона, и я каждый день таскался на седле по окрестностям, мечтая Бог знает о чем, уверенный, что вот где-то рядом ждет меня чудо, называемое любовью.

Но как я был застенчив и боязлив! Смех и восклицания босоногих девок, попадавшихся мне на дороге, заставляли меня краснеть до ушей, и я не решался обернуться и посмотреть еще раз на их пестрые сарафаны, тайно меня пленявшие.

А какие незабываемые бессонные ночи я проводил тогда! Неясные, смутные предчувствия волновали мою кровь, и все казалось, что вот откроется дверь и кто-то войдет сейчас в комнату и скажет тихо волшебное слово – люблю.

Я дрожал, ожидая свидания с неизвестной, таинственной, прекрасной. Иногда в лунные ночи я вылезал через окно в сад и шел по дорожке к пруду, изнемогая от волнения и сладостных соловьиных трелей.

Помню одну ночь, когда предчувствия мои как будто бы воплотились. Я сидел на скамейке около пруда. Луна была на ущербе. По-летнему было душно. Я закрыл глаза и мне

представилось – так ясно, так осязательно близко – женское лицо, с нежным лукавым ртом, с серебристо-туманными глазами, мечтательными и влекущими. И я почувствовал, что кто-то коснулся моей руки, и в этот миг я испытал то острое неизъяснимое наслаждение, которое никогда уже не повторялось в моей жизни, никогда...

II

Как-то раз, после обеда, пошел я в конюшню, оседлал моего Робинзона и выехал из усадьбы. Июльские поля тихо розовели. И крестцы, в полдень казавшиеся золотыми, теперь стали дымчато-красными.

На ветхом мосту, перекинутом через речку Воронку, встретил я Аверьяныча, и он сказал мне, указывая плеткой на юго-запад:

– Гроза идет. Не советую вам далеко уезжать. У нас ливни бывают – мое почтение.

– Я до Красной Криницы, – сказал я, улыбаясь седоусому Аверьянычу, – успею. Да и грозы-то я не боюсь.

И я пустил моего Робинзона галопом.

А небо в самом деле темнело.

Приятно скакать в предвечерней прохладной мгле, когда беззвучна земля и молчит небо, а сердце поет свою песню, свою мечту все о том же миллом, желанном, невозможном, о чем не расскажешь никак.

Я очнулся, когда крупные капли дождя упали мне на руки и где-то нерешительно и глухо зазвучал гром.

Я посмотрел на небо. Боже! Что там творилось. В несколько слоев ползли тучи – синие, коричневые, черные. А там, где-то в высокой дали, двигались новые караваны – уже с иной стороны, как враждебное полчище.

Я повернул коня домой, но уже хлынул неистовый дождь. Казалось, что какой-то великан-безумец бьет землю нещадно злыми бичами. А за горами туч хохочет другой лютый великан. И это его глаза сверкают белыми молниями.

В какие-нибудь пять минут дорогу размыло, и ноги лошади беспомощно вязли в мокром черноземе. Рыжая мгла заслонила от меня мир. Я шагом ехал, как слепой, бросив поводья на шею Робинзону.

Совсем неожиданно раздались около меня голоса и черный кузов фаэтона, с поднятым верхом, вырос из дождевой смутной мглы.

– Вы не из Самыгина будете? – спросил меня кучер, когда я вплотную наехал на чужой экипаж.

– Да. Оттуда, – крикнул я, выждав, когда прогремел гром.

При блеске молнии я увидел, что в фаэтоне сидит маленькая фигура, по-видимому женская, но лица я не успел разглядеть.

– А вот мы не знаем, куда теперь ехать, – продолжал словоохотливый кучер, – к нам ли, к вам ли – куда ближе? Ливень-то ведь, Боже мой, – море-океан.

– Поедьте к нам, пожалуйста, – сказал я, нагибаясь и заглядывая в фаэтон.

– Нет, к нам ближе, – сказала маленькая женщина, – благодарю вас. А вот вы лучше лошадь вашу. Михею отдайте, а сами в фаэтон садитесь. Здесь все-таки от дождя защита.

– Полезайте, барин, – молвил Михей и отобрал у меня по-

воду, заметив мою нерешительность.

Через минуту мы ехали в Мартовку, имение господина Ворошилова, с супругой которого я сидел теперь бок о бок.

– Меня зовут Натальей Петровной, – сказала она, заглядывая мне в глаза, – я теперь одна. Муж на Кавказ поехал. Он доктор. Санаторий там устраивает.

Гроза шумела, и я не мог понять доброй половины того, что говорила мне Наталья Петровна, но зато я видел ее лукавые зеленовато-жемчужные глаза, ее милые губы, нескладно очерченные, но влекущие улыбкой, я чувствовал рядом ее нежное маленькое тело – и от всего этого у меня слабо и сладко кружилась голова.

Когда экипаж с колесами в тяжелой черноземной грязи въехал, наконец, в Мартовку, гроза уже утихла и начался хлопотливый гомон намокших и напуганных птиц.

Наталья Петровна провела меня в круглую столовую. Нам подали веселый самовар, и она стала мне объяснять, куда и зачем она ехала в фаэтоне, но я слушал ее слова, как музыку, не понимая их смысла. Взгляд, должно быть, был у меня при этом странный и рассеянный, так что Наталья Петровна, заметив его, остановилась на полуслове и спросила, что со мной.

Я, конечно, покраснел до ушей и сказал, что у меня мигрень. Тогда она заставила меня съесть какой-то порошок и повязала мне голову большим белым платком. В таком наряде ходил я с нею по саду, и она расспрашивала меня о гим-

назии, о книгах, которые я читаю, о том, зачем я поступаю на филологический факультет... В конце концов она заставила меня читать вслух Пушкина, которого она, по ее словам, обожала. Я ей читал любовные стихи, выразительно на нее поглядывая. Вид, должно быть, был у меня при этом забавный. Наталья Петровна засмеялась.

Я сконфузился и стал прощаться.

– Навещайте меня, – сказала она ласково, когда я, робея, целовал ее руку.

III

Я рассказал дядюшке о моем знакомстве. Он внимательно выслушал меня и сказал:

– Ты говоришь, у нее русые волосы.

– Да.

– У моей невесты тоже были русые волосы.

Чтобы доставить дядюшке удовольствие, я сказал:

– Расскажите мне про вашу невесту.

Он покраснел, как юноша, и охотно стал говорить на эту тему.

В ближайшее воскресенье я поехал с визитом к Наталье Петровне. Она встретила меня, как старого знакомого.

Мы гуляли по саду, где огромные тополя шуршали своими верхушками; сидели у плотины, где не уставая журчала вода; потом пошли в поля...

Все меня пленяло в Наталье Петровне: и ее милый взгляд, и мечтательная улыбка, и ее пальцы, бледно-розовые, как лепестки мальвы.

Она говорила со мной доверчиво и нежно, как с младшим братом, и я был счастлив, счастлив... Одно только меня смущало: она непрестанно вспоминала о своем муже.

Я уже знал, что его зовут Павлом Ивановичем, что он белокур, что у него большая борода, голубые глаза, что он гениальный ученый, врач, психолог, что он идеальный муж, что

он сильный, смелый, здоровый и прочее, и прочее.

Я как-то не слишком восхищался этим человеком, несмотря на пламенное красноречие Натальи Петровны.

Когда я прощался с нею, мне было грустно почему-то. Однако я стал часто бывать в Мартовке. Я играл с Натальей Петровной в лаун-теннис; держал по полчаса, растопырив руки, какую-то розовую шерсть, когда она ее разматывала; читал ей вслух то Пушкина, то Флобера, то Бальзака...

Ночью я шептал непрерывно: люблю, люблю... И все мечтал открыть мою тайну Наталье Петровне.

Однажды, после вечернего чая, мы пошли с нею гулять, спустились в Алябьевскую балку, где было сыро и пахло болотом, поднялись на высокий холм, причем Наталья Петровна оперлась на мою руку и прижалась ко мне плечом, и очутились, наконец, около огромного поля подсолнухов. Вечерело. Подсолнухи повернули свои желтые головы к западу. Было тихо. И казалось, что земля устала и спит.

То, что Наталья Петровна касается меня своим маленьким нежным плечиком; то, что она молчит, и эта розоватая предвечерняя тишина полей – всё волновало меня, и неясная надежда на что-то возникла у меня в сердце.

– Пойдемте сюда, – сказала тихо Наталья Петровна и слегка толкнула меня к подсолнухам.

Мы вошли в этот зеленый лабиринт, где над нашими головами покачивались золотые чаши, и скоро мир пропал для нас и мы для мира.

Недоумевая, я следовал теперь за Натальей Петровной, которая пробиралась сквозь чащу подсолнухов, как зверек.

Наконец, на маленькой полянке она остановилась и села на землю. И я опустился покорно у ее ног. Мы видели клочок далекого безмолвного неба, а вокруг нас была непроницаемая зеленая стена. Мы были одни, одни...

– Какой вы милый! Милый! – сказала Наталья Петровна и прижала свою ладонь к моим губам.

У меня закружилась голова от счастья.

– Что с вами? – спросила Наталья Петровна, заметив мое волнение.

– Я люблю вас, – пробормотал я, чувствуя, что краснею.

Наталья Петровна загадочно улыбнулась.

Неожиданно она приблизила свои губы к моим губам, я почувствовал ее горячее дыхание, и влажный долгий поцелуй, непонятный для меня, заставил меня дрожать от неясного чувства наслаждения и тревоги.

Потом, слегка оттолкнув меня, Наталья Петровна сказала тихо:

– Здесь мне в первый раз признался в любви Павел... у вас глаза как у Павла, совсем как у него... Он прислал телеграмму... Завтра приедет.